

В. Л. ШЛЕНОВ

## К ДУХОВНОМУ ПУТИ ВАСИЛИЯ ОСИПОВИЧА КЛЮЧЕВСКОГО

Хотя русская жизнь на протяжении последнего века вовсе не отличалась особой памятью, Василия Осиповича Ключевского никак нельзя отнести к фигурам забытым или даже полузабытым. И при жизни, и после кончины он пользовался изрядной популярностью. Труды Ключевского никогда не выпадали из виду, в том числе и в советскую пору, их продолжали читать и изучать, они стали неотъемлемой частью золотого фонда русской исторической науки. Не раз выходил его «Курс русской истории», в составе собрания сочинений и отдельно<sup>1</sup>, была отчасти опубликована его переписка, записные книжки и другие архивные материалы.

Была издана и его обстоятельная биография, из которой, впрочем, можно почерпнуть не так много указаний о его духовном пути. Она принадлежит известному советскому историку, ученице М. М. Покровского, академику М. В. Нечкиной, в основном посвятившей себя истории революционного, в частности декабристского, движения<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Собрания сочинений В. О. Ключевского: Сочинения в 8-ми томах. М., 1956—1958; Сочинения в 9-ти томах. М., 1987—1990. Издания отдельных произведений: Письма В. О. Ключевского к П. П. Гвоздеву / Вст. статья С. А. Голубцова. М., 1924; Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968; Неопубликованные произведения. М., 1983; Исторические портреты. М., 1991; Православие в России. М., 2000; Русская история в 5-ти томах. М., 2001. Этот краткий библиографический перечень можно было бы весьма расширить, мы не указываем здесь ни дореволюционных изданий, ни множества переизданий последних лет. Стоит отметить, что «Курс русской истории» издавался также в 1918—1922 гг. и в 1937 г. Интересно было бы сделать сопоставительный анализ изданий разного времени.

<sup>2</sup> Нечкина М. В. В. О. Ключевский. История жизни и творчества. М., 1974. Милица Васильевна занялась Ключевским еще в 1921 г., будучи студенткой Ка-

Как правило, русских историков принято было рассматривать только в сугобо профессиональном ключе, вне общей ретроспективы лиц русской жизни. В центре общественного внимания, о чем бы ни велась речь, обычно предстают, по крайней мере с середины XIX столетия, прежде всего писатели. И инерция этого литературоцентризма, навевавшего своего рода «сон золотой», сохранилась надолго. Скажем, прот. Георгий Флоровский в «Путиях русского богословия», неоднократно ссылаясь на исторические оценки, сделанные Ключевским, нигде не касается его духовной позиции.

А влияние, оказанное тем же Василием Осиповичем и вообще группы русской профессуры, к которой он принадлежал, трудно переоценить. Особенно, если учесть сравнительную узость высокообразованного слоя дореволюционной России, если вспомнить, что почти на протяжении сорока лет профессор Ключевский преподавал в лучших высших учебных заведениях от Московской духовной академии и Московского университета до Александровского военного училища и Училища живописи, ваяния и зодчества. И повсюду он был необыкновенно популярен, во время его лекций другие аудитории пустели.

занского университета, разрабатывая тему «Ключевский как социолог», пытаюсь уяснить связь с ним школы экономического материализма. «Когда я читаю Ключевского, — записывала она в свой дневник 16 июня 1922 г., — мне тяжело, трудно, я не люблю того, что читаю, сердце отстоит далеко от него» (Архив РАН. Ф. 1820. Оп. 1. Д. 248. Л. 319; цит. по: В. О. Ключевский 2005. С. 201). Отметим, как весьма знаменательный, записанный ею 10 июля 1921 г. сон: «Сегодня видела во сне Ключевского — изумительно ярко и живо. Будто бы в библиотеке, но не наша университетская, а какая-то другая. Ключевский седенький, в крылатке за «прилавком» — и я рядом. Я ищу что-то относительно житий святых и не могу найти. Он начинает помогать мне, усиленно роется в словарях, подчеркивает места, показывает какие-то снимки с миниатюр лицевых рукописей, объясняет... — «Вы меня простите, Василий Осипович, что я Вас так затрудняю». А он деловито и просто, как-то мимоходом, не глядя на меня, отвечает: «Что вы, что вы... Я всегда рад вам помочь...» И вместе роемся, разговариваем... Я говорю ему: «Я, Василий Осипович, до корня хочу дойти...» А он отвечает: «Ну, это едва ли,» — и прибавляет через несколько секунд: «Хотя некоторые доходили». Я не расслышала, переспрашиваю, а он повторяет: «Хотя некоторые доходили»» (Архив РАН. Ф. 1820. Оп. 1. Д. 248. Л. 349 об.; цит. по: В. О. Ключевский 2005. С. 201).

«Другого Ключевского не будет», — повторяет в качестве рефрена профессор Московской духовной академии и семинарии С. С. Глаголев, завершая свою статью-воспоминание о нем<sup>3</sup>.

Несомненно, что он был одним из тех людей, которые задавали камертон московской жизни.

«Здесь возникал салон московский,  
Где — из далекой мне земли, —  
Ключевский, Брюсов, Мережковский  
Впервые предо мной прошли»<sup>4</sup>, —

вспоминал много лет спустя, уже в 1920-х годах, Андрей Белый собрания у М. С. Соловьева, младшего брата Владимира, непроизвольно помещая Ключевского по живости духовного импульса, исходившего от него, в один ряд с выдающимися людьми начала XX века.

«В ней жили и мыслили тогда, — писал, все с большим теплом и привязанностью оглядываясь на Москву рубежа веков, С. Н. Дурьлин, — Л. Толстой, Вл. Соловьев, писал Чехов, читал в университете Ключевский, играла Ермолова, но было тихо, тихо. Это огромное содержание жизни, кипевшее в их мысли и творческом деле, не требовало шума. Наоборот: в шуме оно было бы невозможно»<sup>5</sup>. Заданный им ряд людей гораздо более соотносится с миром Василия Осиповича. А о былой тишине оставалось только вздыхать, до нее было уже не дотянуться, как и до утраченной на поколения выношенной христианской традицией нераздельности духовной и умственной жизни.

Следует отметить, что история отнюдь не находилась в те дни, когда жил Ключевский, на периферии общественного сознания. XIX век, сам совсем недавно отодвинувшийся от нас в глубину истории и ставший теперь позапрошлым, по праву можно было бы назвать «веком истории». Настоящее, хотя и предпринимались к тому

<sup>3</sup> Глаголев 1916. С. 491—510.

<sup>4</sup> Белый Андрей. Стихотворения и поэмы. М., Л., 1966. С. 421.

<sup>5</sup> Дурьлин С. Н. В своем углу. М., 2006. С. 696.

определенные усилия, не в силах было еще оторваться от прошлого, но продолжало жить поблизости от него. Значение истории становилось велико, возможно, как никогда прежде или потом. Она служила осознанию традиции — всего, что передано нам веками, — и в то же время стремилась подступить к критическому осмыслению унаследованного, а такого рода осмысление могло вести и вело к отходу от традиции и даже утере ее, нынче это могли бы назвать «деконструкцией традиции». Над историей, таким образом, яростно скрестились шпаги. И веяние мирного духа, характерное для нее прежде, уже почти не ощущалось. Недаром столь пристальным и напряженным становилось отношение к исторической науке. Казалось иногда, что именно она призвана решить вопросы о том, кто мы, откуда идем и как будем жить дальше.

В. В. Розанов, один из первых слушателей лекций Ключевского в Московском университете, для которого они остались навсегда одним из самых ярких впечатлений университетского времени, писал спустя неделю после кончины профессора: «О В. О. Ключевском долго еще будут думать, писать... Несомненно, что наука “русской истории” и кафедра русской истории сейчас находятся под сильнейшим давлением его личности, его письма, его речи, его манеры говорить и судить... Он как-то оконкретил фигуру “русского историка”, и как теперь, так и еще долго потом не будут представлять “русского историка” в ином виде, чем Василий Осипович, или будут усиливаться повторить его в себе, желать увидеть его повторение на кафедре»<sup>6</sup>.

Между тем духовный облик Ключевского и поныне в значительной степени остается непроясненным. Не так просто найти ответы на многие самые незамысловатые вопросы. В особенности это относится к религиозной стороне его жизни, а был он безусловно человеком религиозным, сколь бы ни затаивалась подчас жившая в душе его вера.

Попытаемся определить необходимые предпосылки понимания, наметить подступы к особенностям его религиозного мирозерца-

<sup>6</sup> Розанов В. В. Памятка о Ключевском // Новое Время. 1911. 20 мая.

ния, не обманываясь кажущейся ясностью. Тем более, что подлинная религиозная жизнь человека — всегда тайна, душа никогда не успокаивается на расхожем сознании своего времени, не довольствуется своими фантомами, даже если с ними порой готово примириться сердце. Всегда остается неистребимый до конца корешок победы — образ Божий, по которому человек сотворен.

Никак нельзя пройти мимо общей канвы жизни Ключевского, тем более, что сам он никогда не стремился порывать с собственным прошлым.

Василий Осипович Ключевский родился 16 (по другим сведениям 13) января 1841 года в селе Воскресенское Пензенского уезда в семье священника церкви святых и праведных Захарии и Елисаветы о. Иосифа Ключевского.

Предки его по отцу жили из поколения в поколение в селе Ключи Чембарского уезда, неподалеку от Лермонтовских Тархан, и служили в деревянной церкви святого Димитрия Солунского (Дмитрия Мироточца, как именовали ее прихожане), освященной в 1772 году. По словам подчеркивавшего «верность Ключевского почве, на которой он произрос», его земляка и друга, законоучителя Московского коммерческого училища, протоиерея И. А. Артоболевского: «Знаменитого аршинного чернозема здесь не знают, небольшие клочки его и то с примесью песка, супесь. На возвышенных местах почва или суглинистая, или каменистая. Здесь не знают длинных полевых полос... именно клочки, затерявшиеся в незатопаемых долинах речных водоразделов, в перелесках и в ложах уже сформировавшихся и окрепших оврагов... Лес по преимуществу сосновый... Не редкость — выбивающиеся из горы ключи с сильною жилою и на редкость, благодаря характеру почвы, чистой водою»<sup>7</sup>.

И фамилией своей отец Иосиф награжден был по родному селу: изобретение таких фамилий в духовном сословии было чаще всего привилегией смотрителей духовных училищ. Так и фамилия литера-

<sup>7</sup> Артоболевский И. Д. Воспоминание о Ключевском // Голос минувшего. 1913. № 5. С. 160—161.

турного критика В. Г. Белинского обязана своим происхождением селу Бельнь того же Чембарского уезда.

Отцом Иосифом владело нередкое у русских людей «стремление к перемене мест» — в 1845 году он служил уже в Троицком соборе уездного городка Городище, а с лета 1846 года в селе Можаровка Городищенского уезда, где и постигла его безвременная кончина (было ему всего 35 лет). 28 августа 1850 года он возвращался на возу (с треб или закупки огурцов в селе Шемьшинка), лошадь сбилась ночью с пути, а сам он стал жертвою разыгравшейся стихии. Разразился страшный ливень, на крутом спуске в ложбину воз упал. Отец Иосиф с трудом выбрался из-под воза, пошел, но, оступившись, упал в поток, и водой захлестнуло его. Крик его слышали женщины, но ничем не могли помочь. Смерть отца явной своей несправедливостью не могла не запасть в душу мальчика и не ранить ее.

Анна Федоровна, оставшись вдовой, с тремя детьми на руках (у Василия были младшие сестры), перебралась в родную свою Пензу (она была дочерью священника Духовской церкви в Пензе о. Феодора Мошкова), купила домик на улице Поповка в приходе Боголюбской церкви, при которой служил священник Иоанн Васильевич Европейцев, женатый на ее сестре. Лучшую половину домика она сдавала квартирантам за три рубля в месяц и на том не без труда сводила концы с концами.

Десятилетнего сына она определила во второй класс Пензенского духовного приходского училища. Согласно годичной ведомости об учениках Василий поступил «1851 г., сентября 7, (обучен) читать правильно и быстро, писать порядочно, по нотам учиться начал, знает твердо краткую священную историю и катехизис»<sup>8</sup>. Читать научился он еще до Пензы и как вспоминал впоследствии: «В деревенской глуши, где нецерковная книга была большой редкостью, мне попались две изданные Новиковым поэмы — “Иосиф Битобе” (французский поэт и переводчик Гомера) и “Потерянный рай”

<sup>8</sup> Белокуров 1914. С. IV.

Мильтона и вместе с альманахом Карамзина “Аглаей” были в числе первых книг, мною прочитанных»<sup>9</sup>. Так незаметно, исподволь теряется определенность сознания и веры, наряду с «Житиями святых», читанными бабушке вслух, уже стоят Битобе и Мильтон, изданные Н. И. Новиковым, известнейшим масоном времен императрицы Екатерины II.

Впрочем, нынешнему человеку, возросшему в доподлинно «вавилонском» культурном смешении, едва ли будет внятно, как остро и разрушительно могли в то время действовать на неокрепшую душу некоторые книги. Сколь ни страшен ущерб, нанесенный современной цивилизацией окружающей среде, он и отдаленно не может быть поставлен в сравнение с ущербом, который может быть нанесен духовному существу человека. Почва духовной традиции и культуры, возделанная на протяжении столетий, требует особо бережного к себе отношения. Встреча различных культурных миров обыкновенно однозначно толкуется как добро. Акцент ставится на взаимном обогащении, на выработке духовной широты, открытости и терпимости к другому, умения услышать, понять и принять, однако выпускается из виду, что преждевременное, несвоевременное расширение культурных горизонтов может быть и нередко бывает связано с уплощением и даже исчезновением внутреннего измерения мира, с утратой собственной духовной цельности. Блудный сын, потерявши дом свой, отнюдь не обретает при этом нового, «глобального» дома и, прежде всего, потому, что вместе со своим домом он теряет себя, свое самостояние. К тому же, нельзя просто возвратиться вспять. Вернуться домой можно лишь тогда, когда поймешь, как беден, нищ и наг, когда Иовом усядешься на родном пепелище.

«И еще, — по рассказам бабушки вспоминала сестра Елизавета Осиповна Вирганская<sup>10</sup>, — когда он был маленький, лет двух, лю-

<sup>9</sup> Воспоминание о Н. И. Новикове и его времени // Ключевский В. О. Сочинения. Т. 8. М., 1959. С. 248.

<sup>10</sup> Вирганская Елизавета Осиповна (1844—после 1914), младшая сестра Василия Осиповича. В сборнике С. А. Белокурова написание фамилии — Виргинс-

бил очень сказки и с таким большим вниманием слушал их, если пропустишь слово или два, он сейчас заметит: “это не говорили...” Бабушка его всегда звала так: “бокалаврушка ты мой”. Даже, когда провожали в Москву, говорила: “Прощай, мой милый бокалаврушка. Я больше уже тебя не увижу”»<sup>11</sup>.

В 1856 году В. О. Ключевский заканчивает первым учеником училище и продолжает учебу в Пензенской духовной семинарии, на полный казенный кошт, в связи с недостаточностью средств осиротевшей семьи. По воспоминаниям сестры: «В бурсе он не жил. Жили бедно. Брата очень редко можно было видеть без книги в руках: обедал и чай пил, она всегда была у него. Он никогда не ложился в одни часы с семьей спать, всегда сидел; и когда не на что купить было свечку, он сидел с ночником, или, яснее сказать, в маленький стаканчик вливалось конопляное масло, и опускался фитиль. Или когда в зимнее время холодно в комнате, он брал подушку и забирался на печку с этим же ночником, и читал. Сколько раз жег на себе сорочки; задремлет и прольет его и опять снова просит мать подать ему огня»<sup>12</sup>. «Ах, как я боюсь за своего Васиньку: каждый вечер он, лежа за полночь, все читает, — вздыхала мать по свидетельству протоиерея Василия Маловского, соученика по Пензенской семинарии, — заснет вдруг и может сгореть от опрокинувшегося ночника. Вот и жду, когда он уснет, чтобы погасить огонь»<sup>13</sup>.

«Незавидный по своей наружности, как принято выражаться — несолидный», «по душе своей, — вспоминает дальше протоиерей Василий, — он был мальчик мягкосердечный, кроткий, ласковый, религиозный, любопытный и внимательный», «недаром ему дали кличку — Филарет»<sup>14</sup>.

кая (Белокуров 1914. С. 414). Муж ее Иван Васильевич Вирганский был двоюродным братом Федора Михайловича Керенского.

<sup>11</sup> Белокуров 1914. С. 417.

<sup>12</sup> Там же. С. 415.

<sup>13</sup> Там же. С. 420.

<sup>14</sup> Там же. С. 421, 429.

«Не припомню когда, во втором и третьем классе, — продолжает сестра Лиза, — тут он уже стал давать уроки. Первый его урок был у протоиерея Бурлуцкого<sup>15</sup>, который в то время, кажется, был инспектором в семинарии»<sup>16</sup>.

Поначалу речь Василия Осиповича затрудняло сильное заикание, появившееся после отцовской кончины, однако мало-помалу с недостатком этим ему удалось справиться. Следы заикания выражались только в некотором замедлении произнесения слов и в паузах, как бы порожденных задумчивостью, делавшими речь его столь характерной. Возможно впрочем, что постоянная и привычная забота о произнесении, предварительное проговаривание и обдумывание повлияли и на саму манеру размышления, породили отличавшие Ключевского особливую отчетливость и остроту мысли.

Подробности, сохранившиеся от детства, скупы и немногосложны, но нередко проливают свой свет на дальнейшее. Так, когда Василий Осипович в статье о Лермонтове (1891) (особенно близком его сердцу, однако знаменательно, что как бы случайно, ненароком, он умалчивает о близости их родовых гнезд) говорит об «эмансипации от ига счастья», о какой-то никому неведомой «христианской грусти, заменяющей личное счастье», за словами этими, возможно, не столь вразумительными, но живыми, стоит и от самого себя уже почти сокрытая, сокрывающаяся горечь сиротской жизни в Пензе, скорбь и теснота, которых так и не одолела до конца мысль, а она, как в поговорке говорится, быстрее, но вовсе не

<sup>15</sup> Бурлуцкий Яков Петрович (13.07.1819—27.09.1886), протоиерей. С 1858 г. был инспектором Пензенской семинарии. «Как Бурлуцкий назидает вас душеспасительными примерами вместо русской церковной истории, которая для него что-то вроде terra incognita», — писал В. О. Ключевский из Москвы семинарскому своему товарищу П. П. Гвоздеву (в письме от 25.11.1861 г. // Ключевский 1968. С. 63), оглядываясь на родную семинарию со студенческим высокомерием. Преподавателем отец Иаков был совсем неплохим, немало потрудился в качестве редактора Пензенских епархиальных ведомостей (с 1865 по 1873) и оставил по себе память как о серьезном исследователе пензенской церковной старины.

<sup>16</sup> Белокуров 1914. С. 415.

сильнее всего (бессильна мысль о прошлом, разлученная с покаянием, с сердцем сокрушенным и смиренным). Так и не обрел никогда Василий Осипович глубинного спокойствия умиротворенной души и свободу «любить

Поутру ясную погоду,  
Под вечер тихий разговор»<sup>17</sup>.

«Всмотритесь в какой угодно пейзаж русской природы: весел он или печален? Ни то, ни другое: он грустен»<sup>18</sup>. Пытаясь дедуцировать из природного духовное, Ключевский чрезвычайно близко подступает к тому, что позже назовут «евразийством»: «Народу, которому пришлось стоять между безнадежным Востоком и самоуверенным Западом, досталось на долю выработать настроение, проникнутое надеждой, но без самоуверенности, а только с верой»<sup>19</sup>.

«Его грусть... становилась художественным выражением того стиха-молитвы, который служит формулой русского религиозного настроения: *да будет воля Твоя*<sup>20,21</sup>. Вся умственная сила Василия Осиповича без остатку в последнем счете ушла на поиск глубинного основоположения, онтологической точки опоры. В этом он разделял во многом трагическую судьбу выходцев из русского духовного сословия. Сердце их не могло никогда успокоиться ни на каком отвлеченном учении или идеализме, отдаваясь и теряя литургическую укорененность в Божественной жизни, онтологизм храмового богослужения свершающегося с неуклонностью закона природы, тот своеобразный духовный «материализм» Православия, покоящийся на благодатной силе таинств, на преобразении и обожении тварного бытия в нетварном. Душа их с жизненной необходимостью нуждалась в недостающей отныне точке опоры и не могла ее обрести в пустыне, которая пролегла между нею и родным домом Церкви.

<sup>17</sup> Грусть (Памяти М. Ю. Лермонтова) // *Ключевский В. О. Сочинения*. Т. 8. С. 130.

<sup>18</sup> Там же. С. 131.

<sup>19</sup> Там же. С. 132.

<sup>20</sup> Мф. 6, 10.

<sup>21</sup> Там же. С. 132.

И потому, чем вещественнее — и значит, по-видимому, надежнее, — пыталось утвердить себя мироощущение, тем дальше отступало оно от Бога, сокровенного в душе, тем менее способно было справиться со своей гнетущей тревогой.

Вот и Ключевского, оказавшегося на перепутье, как ни пытался он опереться на непреложное: на географию, на народное чувство, которое ошибиться не может, на настроение русское, на (как однажды несколько неловко выразился он) «преданность судьбе, т. е. воле Божией», — снесало все нараставшее ощущение внутренней тревоги, сочетавшееся с поразительным внешним спокойствием, кажущейся великой умиротворенностью. Недаром идущие следом могли ощущать: «это уходит от нас целое поколение, с особой нравственной физиономией, целый невозвратимый мир, с которым связано все лучшее нашей молодости, какое-то благородство возвышающей научной и общественной жизни»<sup>22</sup>.

Однако в глубинном онтологическом плане они не совсем были правы: в коренных убеждениях, в основоположениях своей души и сам Ключевский уже до некоторой степени разделял с ними зыбкость, неустойчивость и непрочность человека, оказавшегося в промежутке. Как записал Василий Осипович в своем дневнике от 9 марта 1862 года: «Жутко стоять между двух огней. Лучше идти против двух дул, чем стоять, не зная, куда броситься, когда с обеих сторон направлены против тебя по одному дулу. Мне часто хочется безотчетно и безраздельно отдаться науке, сделаться записным жрецом ее, закрыв и уши, и глаза от остального. Лучше бы что-нибудь определенное скорее. Энергии, и без того небольшой, много пропадает в этих болезненных метаниях из стороны в сторону»<sup>23</sup>.

Как истый человек промежутка, «междумирок» (таким весьма безвкусным, но точным словом назвал это состояние впоследствии Валерий Брюсов) он полагает здесь, что «нечто определенное» придет откуда-то извне, проявится само собою, и в этой установке души на ожидание — в чуткости и одновременно неустойчивости,

<sup>22</sup> Алферов А. Памяти Ключевского // *Русские ведомости*. 1911. 14 мая.

<sup>23</sup> *Ключевский 1968*. С. 223.

в романтическом смещении, сбиве перспектив и в смешении планов, в перенесении центра тяжести наружу, в произвольном забвении того, что *Царствие Божие внутри вас есть*<sup>24</sup> (даже если на словах это утверждается) и в то же время в повышенном чувстве своей субъективности, самости, особенности, сопряженном с утратой собственного глубинного устоя, но и в богатейшем переживании личности, ощутившей возможность своего произволения, в том распаде духовной ясности, обретенной в тысячелетней упорной работе, в осознанном и неосознанном отступлении от призвания Божия, от креста своего — от той неподъемной ноши, неудобноносимого бремени, которое *легко есть*<sup>25</sup>, — трагедия выходцев из русского духовного сословия. И шире того — трагедия России, терявшей живую связь со Святой Русью.

Однако возвратимся к жизненному пути Василия Осиповича, к очередному его надлому. Уход из Пензенской семинарии, зимой, посреди последнего курса, не «философом», как писано было нередко, а «богословом», обусловлен был и внешними обстоятельствами, в том числе конфликтом с преподавателем протоиереем Авраамием Павловичем Смирновым<sup>26</sup>, уязвленным данным ему Ключевским прозвищем «кошачьего психолога». Но был в семинарии и всегда высоко ставивший Ключевского профессор Степан Масловский<sup>27</sup>.

<sup>24</sup> Лк. 17, 21.

<sup>25</sup> Мф. 11, 30.

<sup>26</sup> Смирнов Авраамий Павлович (1810—1872), протоиерей, преподаватель патристики, психологии и латинского языка в Пензенской семинарии.

<sup>27</sup> Масловский Степан Васильевич (1830—21.11.1891), протоиерей. В 1856 г. окончил Казанскую духовную академию 5-м магистром, следующим после Афанасия Прокофьевича Щапова. С 1856 г. был в Пензенской семинарии профессором по кафедре Священного Писания, а с 1861 г. по кафедре логики, психологии, патрологии и латинского языка. Протоиерей В. П. Масловский, выпускник Пензенской семинарии 1860 г., вспоминал: «Однажды Ст. В. Масловский, всегда ровный, тихий, спокойный, пришел в класс с заметной ажитацией и одушевлением и, положив на стол связку прочитанных им накануне сочинений... ничего не говоря, подошел к Ключевскому и, положив свою руку на плечо, сказал вслух всего класса: “Ну, г-н Ключевский, вы свое сочинение написали во всех отношениях так прекрасно, что так и я не написал бы”» (Биографический очерк 1914. С. 74).

«Несравненный человек, который больше и жарче всех желал нам добра, меньше всех делал зла или, лучше сказать, вовсе его не делал и которого, однако ж, меньше всех ценили и понимали и, вероятно, ценят и понимают до сих пор! Тихая и безобидная душа!»<sup>28</sup>, — вспоминал Василий Осипович о нем в письме П. П. Гвоздеву от 3.09.1861 г. Без всякого сомнения, внешние обстоятельства, какую бы напряженность они ни привнесли, послужили лишь поводом. Да и возникли они лишь как обнаружение, воплощение внутреннего терзания, все глубже уязвлявшего душу Василия Осиповича, в сфере эмоциональной, явленного как чувство «стояния между двумя огнями».

Преосвященный Варлаам (Успенский)<sup>29</sup>, тогдашний архиепископ Пензенский, «сколько мог наругав его», отнесся вполне милостиво

Тема сочинения была «Взгляд на друзей Иова». С 1875 по 1885 г. С. В. Масловский состоял ректором Пензенской семинарии. А в последние годы жизни был кафедральным протоиереем, председателем Епархиального училищного совета и Иннокентьевского просветительного братства.

<sup>28</sup> Ключевский 1968. С. 25.

<sup>29</sup> Варлаам (Успенский Василий Иоаннович) (1801—31.03.1876), архиепископ Тобольский и Сибирский. 11-й магистр VI курса (1824—1828) Московской духовной академии. Епископ Пензенский с 1854 по 1862 г. (с 22.04.1860 архиепископ).

«Епископ Варлаам был нрава крутого, но прямого и честного. Вел он жизнь простую, без всяких сибаритских прихотей, и доступен был для духовенства и других во всякое время. В обращении был грубоват и аляповат, но это и шло к простой, не дипломатичной, а искренней его натуре. Роста он был большущего, и сложение телесное имел крепкое... Обладал он крепким здравым смыслом русского старинного человека и вел себя и обращался со всеми по этому своему смыслу, без всякого стеснения себя какими-либо тонкостями дипломатическими: вежливостию, ласковостию и любезностию, при которых обыкновенно мягко стелют, а жестко спят...»

Но крепостные помещики тогдашние его недолюбливали. Он их никогда не ублажал и от их капризов и стеснений всегда защищал духовенство. Рассказывали тогда, что какой-то помещик явился к нему и азартно на словах чернил своего приходского священника, жалуясь на то и другое... Варлаам выслушал его и, оценив своим здравым умом все ему наговоренное, прямо сказал такие недипломатичные слова этому ярому помещику: “Удивляюсь, вы образованный человек, а являясь к архиерею, говорите ему бесцеремонно такие глупости”. Ошеломленный помещик поспешно раскланялся, но в архиерейской передней не выдержал и сказал в азарте: “Это не архиерей, а сибирский медведь”.

Говорили, что он занимался пасхалиею и уже составил по этому предмету

и удерживать против воли не стал. 21 декабря 1860 года он наложил на прошение резолюцию: «Ключевский не совершил еще курса учения и, следовательно, если он не желает быть в духовном звании, то его и можно уволить беспрепятственно. Прочее исполнить. Декабря 21 дня 1860 года»<sup>30</sup>. Символичным для самого Ключевского показалось то, что увольнение его из Семинарии по времени совпало с отменой крепостного права. В своем уходе он также видел обретение свободы, бегство от принуждения, выход на волю.

24 июля 1861 года Василий Осипович прибыл в Москву и всего через несколько дней поступил на историко-филологический факультет университета. Упорные подготовительные занятия привели к успеху: экзамены он сдал легко. Товарищей по курсу у него было немного; всех студентов — 13. В июне 1865 года он окончил университет вторым кандидатом (первым был Александр Иванович Кирпичников<sup>31</sup>, а третьим — Никодим Павлович Кондаков<sup>32</sup>).

Сохранились письма Ключевского первых университетских лет. Они живо представляют состояние его души. Из письма дядюшке, священнику Боголюбской церкви в Пензе, о. Иоанну Васильевичу

большое учение исследование, и готовил его к печати, но требовал при этом от начальства, чтобы цензура его сочинения поручена была митрополиту Московскому Филарету, которого он особенно уважал. И я знал, что он приглашал к себе часто псалмиста преподавателя семинарии Павла Семилиорова для разных справок и поручал в Семинарии — не отыщут ли где что-нибудь по вопросу о *dies solis* — день солнца у римлян, который был и днем воскресным.

С духовенством и с корпорацией семинарскою и со всеми учеными он любил сближаться. Во все высокочестивые праздники и царские дни все духовные и учителя непременно и обязательно к нему являлись *in согороге* для поздравления» (*Певницкий Виктор Евгеньевич, прот.* Воспоминания // Русская старина. 1905. № 8. С. 329—330).

<sup>30</sup> Белокуров 1914. С. 313.

<sup>31</sup> Кирпичников Александр Иванович (1845—1903), историк всеобщей литературы.

<sup>32</sup> Кондаков Никодим Павлович (1844—1925), искусствовед. «С громадным большинством своего курса я был вовсе незнаком, или только шапочно, любил разговаривать с Ключевским, которого уважал за его серьезность и трудолюбие...» (*Кондаков 2002.* С. 91). «Громадное большинство», конечно, риторическая фигура. В действительности на курсе училось всего 13 студентов.

Европейцеву: «В первый раз в жизни почувствовал я себя одиноким, когда мы отъехали от станции железной дороги: ведь ни позади, ни впереди не было ничего не только родного, знакомого даже»<sup>33</sup>.

И вновь о том же путешествии из Пензы в Москву: «Машина спокойно тащит за собою целую деревню вагонов, только по временам фыркающая, как лошадь... Обольстительно прислушиваться, как неумолкаемо идет ее механическая работа... есть от чего морозу пробежать по телу, не от страха — он и на ум никому не придет, когда сидишь в вагоне, а просто от восторга»<sup>34</sup>.

Заслуживает особого внимания этот почти религиозный восторг перед продвижением технического прогресса: последствия такого чувства, охватившего душу, гораздо значительнее, чем может поначалу представиться. Христианство как основоположение человеческого общежития и незыблемый устой всей человеческой жизни начинает вдруг казаться несущественным, в расхожем сознании времени, оно вновь становится тем камнем, *который отвергли строители*<sup>35</sup>.

Писал же и Николай Семенович Лесков 13 марта 1862 года в неподписной передовой статье в газете «Северная Пчела»: «Во всяком народном представительстве побуждениями представителей руководят вовсе не те идеалы, о которых толкует “День” (газета, издававшаяся на ту пору И. С. Аксаковым, делавшая акцент на значении Православия. — В. Ш.), а общие интересы страны». Так ненароком «общие интересы страны», продолжавшей еще называться «православной монархией», противопоставляются вере. При том что видит уже Н. С. Лесков достаточно ясно: «Наш либерализм гораздо либеральнее на словах, чем на деле. На деле у нас “всяко живет”, а слова — “на словах соколиный полет”. Мы в самом деле: дошли в литературе, в известных вопросах, до такого либерализма, что он становится каким-то тираном и деспотом». «Вовсе не те идеалы», а «либерализм» оказывается на поверку страшною «узостью

<sup>33</sup> Письмо от 23.07.1861 // *Ключевский 1968.* С. 13.

<sup>34</sup> Письмо от 26.07.1861 // *Ключевский 1968.* С. 19.

<sup>35</sup> 1 Пет. 2, 7.

предвзятых воззрений». Наружная широта оборачивается обмельчанием глубины и принижением высокого, чудовищным уплощением жизни, и не заметить столь очевидного можно было разве только «просто от восторга».

Знаменательно сравнивает Ключевский лекции в Семинарии и в Университете в письме семинарскому товарищу своему П. П. Гвоздеву: «Тихий июньский день; окно отворено; тишина; слышно; “Как закон был руководителем иудеев, так и философия есть законодательница ко Христу”; голос журчит, как ручей, строчит, как приказный, а вдали светло, поляна нежится на солнце». А вот — Москва, университет: “Чтобы войти в интересы нравственной жизни народа, надобно изучить его словесность”... Чем дальше, тем шире раскрывается душа; ничего нового, все общее и более или менее читанное или слышанное, но любо становится на душе, и чувствуешь, как эти читанные и слышанные мысли с новой силой, с новым обаянием теснятся не в голову одну, а во всю душу, во все существо»<sup>36</sup>.

Еще решительнее было сказано в письме однокласснику по Пензенской семинарии В. В. Холмовскому<sup>37</sup>: «У меня иная догматика»<sup>38</sup>. И как прямое следствие «иной догматики» смещение перспектив, намечающийся разрыв со всем, чем душа жила и наполнилась, новое невосполнимое разрушение смыслового поля: «А у нас всегда были на первом плане тяжелая нужда, тяжелая борьба с бедной природой да давящими историческими обстоятельствами, татарщиной, византийщиной, боярщиной и прочим... С первых пор христианства русский человек стал грехом считать свою родную старину, свою народность... Где тут разыгаться фантазии народа, когда над ней тяготели византийские ужасы адских мук и козней бесовских»<sup>39</sup>. Так исподволь обесцененный опыт православного подвижничества,

<sup>36</sup> Письмо от 3.09.1861 // *Ключевский 1968*. С. 23—24.

<sup>37</sup> Холмовский Василий Васильевич (1839—† после 1908), в начале 1900-х гг. мировой судья в Сухуми.

<sup>38</sup> Письмо от 27.09.1861 // *Ключевский 1968*. С. 31.

<sup>39</sup> Письмо П. П. Гвоздеву от 27.10.1861 // *Ключевский 1968*. С. 56.

великая школа трезвения души почти выпадают из поля зрения.

И дальше по пути переоценки: «Теперь затронуты самые внутренние глубины Православия, и от них требуют решительного да или нет. Без истории теперь, как и во всякое переходное время, нет спасения. Чувствуешь, что многое оказывается несостоятельным, а между тем, очертя голову, не хочется бросать своих старых верований, занявших столько душевных сил... Жалко бросить их, потому что они прежде были родником лучших мыслей и чувств. Вот и хочется свести счеты: вызвать пред исторический трибунал всех этих святых отцов, спросить у них, что они сделали не для себя, не для немногих, а для массы, которая так доверчиво и так благоговейно отдалась их водительству?... Словом, проверить весь исторический ход христианства, проверить беспристрастно, и все равно, к чему бы ни повела эта проверка»<sup>40</sup>. Едва ли он осознает сам, что произнесенные слова — слова отречения. Ведь в отличие, скажем, от Ф. М. Достоевского он, если судить по вырвавшимся у него ненароком словам, не собирается избирать сторону Христа во что бы то ни стало. Непроизвольно и сама «история» переносится в «символ веры»: оказывается «без истории... нет спасения». И все-таки «отречение», да не совсем. Душа подспудно противится: «не хочется бросать своих старых верований, занявших столько душевных сил», которые «прежде были родником лучших мыслей и чувств».

Ключевский действительно остановился на пороге между мирами. И продолжает размышлять в письме П. П. Гвоздеву: «Но что делать с теми верованиями, которые воспитали нас, что делать с ними, пока будешь рыться в истории да добиваться от нее ответа?... Но пока в христианстве есть одна сторона, которой можно отдаться без опасений, перед которой еще можно преклониться с самой беззаветной, детской доверчивостью, это его человечность, так много исцелившая ран в мире»<sup>41</sup>.

Дерзок и по мальчишески задирист вызов, бросаемый Ключевским (до чего схож он в этом с молодым Владимиром

<sup>40</sup> Письмо П. П. Гвоздеву от 25.11.1861 // *Ключевский 1968*. С. 65.

<sup>41</sup> Там же. С. 66.

Соловьевым, как бы далеко ни отстояли они друг от друга<sup>42</sup>) в том же письме: «Не бояться ли испортить нас! Наши души воспитывают для царствия Божия, как мусульмане своих дочерей для гарема султана — нежно отдавая от нас все нечистое, как бы мы не замарались, не простудились. Гнусно! Нет, чтобы закалить наш дух, поставя лицом к лицу со всем, что есть дурного и злого»<sup>43</sup>. Увы, дурное и злое уже надвигаются безудержно. По поговорке русской: «Что имеем, не храним».

«Я лично уже со времени своего студенчества, — писал Никодим Павлович Кондаков, однокурсник по Московскому университету, — не христианин внутренне и христианства не исповедаю. Но в то же время чувствую и сознаю себя искренне религиозным, но давно уже прекратившим в себе, внутри, и в своем быту всякие поиски и порывы к возвращению той мечтательной и темной веры, которою был наполнен в юношестве»<sup>44</sup>. Этого Василий Осипович о себе сказать не мог.

<sup>42</sup> Резкое неприятие Владимира Соловьева и его круга идей особенно отчетливо выражено в отзыве на его выступление «Об упадке средневекового мирозерцания», читанном в заседании Московского психологического общества 19 октября 1891 г. «Хочет догматизировать и канонизировать свои социалистические или даже просто служебные похоти... Христианство дано было не как готовый общественный порядок, тогда оно было бы нелепой затеей, а как идеал личной жизни... С отросшими волосами — нечто среднее между длинноволосым попом и лохматым нигилистом — расстрига... Что-то пошлое, дурацкое, точно дуралей озорной ворвался в рабочую комнату, где делали свое дело, все перепутал, напакостил и убежал... Атеисты всемиловейшее пожалованы в действительные статские христиане. Хочет спасти гуртом, а не поодиночке, как доселе» (*Ключевский 1968*, С. 258—259). Не верит трезвый ум Василия Осиповича, что «общество праведного общежития» может быть «составлено из негодяев», отвергая главное обольщение предстоящего века. И еще одна немаловажная деталька, характеризующая различие их взглядов и живую конкретность мысли Ключевского: «Ключевскому сказали: вот Владимир Соловьев говорит, что человек отличается от животного стыдом: у человека есть стыд, а у животного нет. Ключевский сказал: “Врет: у животных есть стыд: вот — у меня Кузька, ему всегда бывает совестно, когда что не ладно делает, он подожмет хвост и глядит виновато, а у человека нет стыда: у человека страх”» (*Глаголев 1916*, С. 494).

<sup>43</sup> *Ключевский 1968*, С. 66.

<sup>44</sup> *Кондаков 2002*, С. 167—168.

Однако восторг «перед механическим дивом» и для него не прошел бесследно. Плененная душа не сразу может угомониться и сама подчас уподобляется механическому в честолюбивом порыве познать крайние пределы человеческого, и тогда согнутая спина спортсмена подменяет уже собою лик святого. Охлаждение к горнему налицо и неприкровенно ощущается в письме И. В. Европейцеву от 14 июня 1862 г.: «Я скажу, что видел Москву очень мало; в Успенском не был ни разу (зачем?), Филарета не видал и не хочу видеть; в Кремле — два раза мимоходом, в Церкви вообще — два раза — в ноябре да на Пасху как-то, к концу. Неужели при таком любопытстве я могу сказать, что видел Москву?»<sup>45</sup>.

С историзмом как «условием спасения» входит все глубже мысль о релятивизме, относительности каждого положения дел, красноречиво выраженная в письме П. П. Гвоздеву от 20 ноября 1862 г.: «Интересно знать, что будет делать нравственное богословие, когда со своей высоты сойдет до разбора характеров и типов, обрисовываемых в современной литературе, характеров и типов, движимых в своем развитии и образе действий всевозможными мотивами, но только вовсе не нравственно богословскими... Если ведь было время, когда каждый мелочный лавочник интересовался знать, чем решили святые вселенские учителя вопрос о двух естествах Иисуса Христа, то почему же не быть и такому времени, когда не только лавочник, но и покнижнее люди не хотят помнить не только о нравственном, но и всяком другом богословии»<sup>46</sup>.

К счастью, разрыв, совершающийся в уме, вовсе не непременно становится разрывом практическим. Однако нередко чувство, не просветленное зиждительной силой ума, мертвеет и глохнет, само не заметив того. Ум, для которого вера становится лишь бесплотным идеалом, призраком какого-то неотмирного гуманизма, но не обнаруживает даже своего отсутствия, выветривается и пустеет, становится ломким и острым, сухим и подвижным.

<sup>45</sup> *Ключевский 1968*, С. 98—99.

<sup>46</sup> *Ключевский 1968*, С. 100—101.

Трагизм заключается именно в невозможности прорыва. Как писал Василий Осипович в 1899 году в черновых заметках о Чехове: «Нелепость до того нелепа, что становится не досадной, а только смешной или печальной», и сладить ли «с царящим над миром средним человеком»? Не удаются «ни кислая улыбка, ни великодушный вздох», когда «становишься глаз на глаз с жизнью, т. е. с самим собой, и думаешь, чем же я лучше их, вот этих всех идей?» «Субстанция ни то, ни се, серая, поношенная, всегда скучная и никогда не скужающая, ежеминутно умирающая и походя возрождающаяся, но не уменьшающая, не заботящаяся взять себе в толк, зачем она родится, для чего живет и почему умирает»<sup>47</sup>.

Отметим, впрочем, одно важное обретение студенческих лет, подчерпнутое Василием Осиповичем от Ф. И. Буслаева: «Слово — не случайная комбинация знаков, не условный знак для выражения мысли, а творческое дело народного духа, плод его поэтического творчества»<sup>48</sup>.

Однако от общей диспозиции, сложившейся в годы учебы и контурно обрисованной нами, возвратимся к жизненному пути Ключевского, наметим его в самых общих чертах. По наружности своей он прям, прост и немногосложен, вполне согласуется с пожеланием его «безотчетно и безраздельно отдаться науке, сделаться записным жрецом ее, закрыв и уши, и глаза от остального». Удивительно удавалось ему улавливать «мелкие, неуловимые для других черты, слагать из них драгоценные исторические ожерелья и озарять их исторической идеей»<sup>49</sup>. Он преподает русскую историю в Александровском военном училище (1867—1873), в Московской духовной академии (1871—1906), в Московском университете (1879—1911), председатель Императорского общества истории и древностей Российских (1893—1906), магистр русской истории (1872), доктор русской истории (1884),

<sup>47</sup> Ключевский В. О. Неизданные произведения. М., 1983. С. 323.

<sup>48</sup> Ключевский В. О. Сочинения. Т. 8. М., 1959. С. 291. Любимый его учитель по университету Федор Иванович Буслаев также был родом из Пензы.

<sup>49</sup> Барсов Е. В. Ключевский // Московский листок. 1911. 16 мая.

ординарный академик Императорской академии наук (с 7 октября 1900 г.).

Женился он по окончании курса на Анисье Михайловне, племяннице квартирной хозяйки, которая и выходила его, когда еще на студенческой скамье он отчаянно заболел тифом. «Удивительно, — по словам Елпифидора Васильевича Барсова, — она умела понимать и беречь его, предупреждала и устраняла всякое его нравственное беспокойство»<sup>50</sup>. В доме у него воспитывались и дети рано умершей младшей сестры. «Жизнь его была необыкновенно проста, а в первые годы, по окончании курса, даже очень скудна. Он жил тогда около Полянского рынка, в маленькой хижине, состоявшей почти из одной комнаты, но зато был широкий двор, почти непролазный в сырую погоду»<sup>51</sup>.

О впечатлении, произведенном первой лекцией Ключевского в Московском университете, живо вспоминал бывший на ту пору студентом В. В. Розанов:

«Прошел говор, что в большой словесной аудитории (во втором этаже нового здания) новый профессор русской истории В. О. Ключевский будет читать первую пробную лекцию. Профессор же этот приглашен от Троице-Сергия, из духовной академии. Мы, студенты, никакого представления о нем не имели и появлению его не предшествовало никаких слухов. Аудитория переполнилась! На скамьи прошло несколько профессоров университета, между ними Герье и другие.

И вот неуклюжей, раскосой и торопливой походкой вошел новый профессор и не столько сел, сколько уместился на кафедре, живя на ней, двигаясь, поворачиваясь и корпусом, и головой... и руками. Есть фигуры летучие, есть фигуры стоячие, есть фигуры ползучие. Ключевский был фигура ползучая, стелющаяся, цепляющаяся. Как лиана около дерева, как повилика около забора. И он полз руками, фигурой, больше всего мыслью, полз голосом... Но здесь я должен отдельно сказать о голосе.

<sup>50</sup> Там же.

<sup>51</sup> Там же.

По аудитории пронесся резкий, тонкий, нам, студентам, показалось — почти дискант, но дисканта почти не было: это был горловой голос в высоком напряжении, при котором горловые связки особенно дрожат. Какая противоположность с Соловьевым и Поповым, они были мужи, мужчины — как слоны, из недвижимой фигуры неся именно «трубою» спокойный бас, без напряжения и волнения. Речь ступала, как толстые ноги слонов о каменную почву. У Ключевского голос был явно женский, крикливый, певучий, и он им не говорил, “как прилично профессору”, а тянул его, как тянут проволоку на фабриках... Лекция была тягучая, гибкая, бесконечная нить, свиваемая так и этак.

Это форма. Она нас удивила и не была нам приятна. Теперь о содержании. Ни темы, ни хода мыслей “пробной лекции” я не помню, меня заняло в ней другое: строение мысли, строение фразы как словесного предложения.

Ничего подобного я не слышал ни прежде, ни потом. Ключевский нередко останавливался (на мгновение), чтобы перестроить иначе уже произнесенную фразу и кончить ее так, как нужно было; в последнем завершении, в последнем чекане, к которому ни прибавить ничего нельзя было, ни убавить из него. Поэтому, когда фраза завершилась, — это была художественная, литературная фраза, которая могла сейчас лечь под печатный станок. Медленно, с какой-то натугой, со страшной внутренней работой вам сейчас он “печатал” слово, строки, предложения, всю характеристику лица или эпохи, давал ответ на вопрос или недоумение науки и ученых. Это было необыкновенно. Речь, им произнесенную, без поправок, без корректуры, без “про-смотр автора” можно было помещать куда угодно, все было кончено и завершено, отделано последнею отделкою. За каждое слово и отглагол слова он мог бы судиться или стреляться на дуэли — если бы это сколько-нибудь было вообразимо относительно его.

Но было явно, что он не отречется никогда ни от одного оттенка; а было их много. Чтение его было полно оттенков, ретуши; нередко (в отношении исторических лиц) оно звучало тонкой и решительной иронией, общий привкус речи был шутливый, подсмеивающийся.

И все это так тонко и непретенциозно, как может быть только у старого преподавателя духовной академии.

Все было страшно ново: ни на одного из наших университетских профессоров он не был похож. Нисколько. Полная им противоположность.

Бесспорно, он принес сюда на своих сапогах землю от мощей Сергия Радонежского, от тенистых аллей Троице-Сергиева посада, от тамошних пахучих порядков или беспорядка, от бурсы, от вечно-го тамошнего ладана, от кипариса и восковых свеч. В университет с ним вошла духовная академия: в ее идеальном, лучшем выражении. Он ее внес уверенно и твердо, от нее не отрекаясь и ею не стесняясь. Но и без спора, без критики университета в его светском духе и “душке”. Сущность и особенность “Ключевского в Москве” заключалась в высшем и, может быть, неповторимом слиянии в одном лице традиции и духа русского церковного просвещения, бытового, народного, религиозного, — с просвещением государственным, светским, общественным, вольным. В том и другом он откинул ложное и мелочное, черное или пустое, и оба слил в своем умном лице, в своей ковальной речи.

Черный (тогда), гладкий, длинный волос вроде дьяконского или дьячковского обрамлял его сухощавую голову... Лице все жило, особенно рот и глаза, но также вся его мускулатура. Борода маленькая (меньше, чем теперь на портретах)... Все давало впечатление типичной стародавней духовной фигуры. Не то псаломщик от кафедрального собора, не то подьячий посольского приказа времен царей Михаила и Алексея... В нем не было заметно ничего нового, “новенького”. Чего-нибудь щеголеватого нельзя было и вообразить в связи с ним. Это был не наших времен человек. И вместе — “наших”, по отсутствию вражды к “нам”, по полному пониманию “нашего времени”<sup>52</sup>.

И несмотря на все свое стояние между миров, на великое внутреннее смятение души, Ключевский воспринимался студента-

<sup>52</sup> Розанов В. В. Около науки и университета // Русское слово. 1909. 12 декабря.

ми именно, как «принесший на сапогах землю от мощей Сергия Радонежского». И еще удивительнее то, что это нисколько не отвратило от него студентов, по-шестидесятничски радикально (теперь бы сказали «экстремистски») настроенных.

Можно услышать оттенки критической оценки у давнишнего ученика Ключевского, учившегося примерно в те же годы, что и В. В. Розанов, Петра Николаевича Милюкова: «Он нас подавлял своим талантом и научной пронизательностью. Пронизательность его была изумительна, но источник ее был не всем доступен. Ключевский вычитывал смысл русской истории, так сказать, внутренним глазом, сам переживая психологию прошлого как член духовного сословия, наиболее сохранившего связь со старой исторической традицией... Он оживлял материал своим прожектором и сам говорил, что его надо спрашивать, чтобы он давал ответы, и эти ответы надо уметь предрешить, чтобы иметь возможность их проверить исследованием. Этого рода “интуиция” нам была недоступна, и идти по следам профессора мы не могли.

К этой черте присоединялась другая: то обаяние, которое производила художественная сторона лекций Ключевского, его искрящееся остроумие, отточенность формы, неожиданные сопоставления и антитезы, наконец, готовые схемы, укладывавшие в одну отточенную фразу смысл целых периодов истории, все это было слишком далеко и стояло слишком высоко над тем, к чему нас приучило предыдущее преподавание русской истории. Свое стройное здание профессор выводил в готовом стиле из нашей *tabula rasa*. Мы видели на его примере, что и русская история может быть предметом научного изучения; но дверь в это здание оставалась для нас запертой»<sup>53</sup>.

Совсем о другом восприятии говорит историк М. М. Богословский: «С лекции Ключевского всегда, бывало, уходил с новыми знаниями, которые на ней приобретались, но — что еще гораздо важнее — чувствовалось, что с нее уходил,

<sup>53</sup> Милюков П. Н. Воспоминания. Т. 1. М., 1990. С. 115.

став немного умнее, чем пришел на нее. Свет его мысли просветлял и мысль его слушателей»<sup>54</sup>.

А в словах видного деятеля Временного правительства П. Н. Милюкова<sup>55</sup> — отголосок так и не завершившейся в нем никогда дружбы-вражды с Ключевским, ставшей немаловажной частью его жизни. Тот никак не мог вполне отозваться на прогрессистские чаяния, обуревавшие Павла Николаевича задолго до безоглядного погружения его в политическую деятельность<sup>56</sup>. Да и требования, предъявляемые к нему Ключевским, были чрезмерно высоки.

Несомненно, воздействие Ключевского на русское общество и на русскую культурную жизнь было весьма велико, хотя даже вопрос об этом до сих пор по существу не поставлен. О Ключевском говорили только по отношению к науке «русской истории», между тем влияние его далеко не ограничивалось преподававшимся им предметом. Недаром указывал М. Бороздин, что смерть Ключевского была «утратой не одной Москвы, но всей грамотной и мыслящей России, имя его вряд ли с кем может быть сравнено по широкой и глубокой популярности, смело можно сказать, что нет ни одного уголка в России, где бы не знали его и не чттили»<sup>57</sup>. На многих (к примеру, на том же В. В. Розанове) вполне внятен явственный отпечаток: его личности, его речи, его образа мысли.

<sup>54</sup> Богословский М. М. Историография, мемуаристика, эпистолярная: научное наследие. М., 1987. С. 77.

<sup>55</sup> Декларируемая отдаленность Милюкова от духовного сословия отнюдь не помешала ему жениться на дочери ректора Московской духовной академии прот. С. К. Смирнова, с которой в гостях у Ключевских и познакомился.

<sup>56</sup> Отметим письмо, написанное В. О. Ключевским графу С. Д. Шереметеву в 1902 г. после ареста Милюкова: «Может быть, Вы найдете возможным употребить светлое влияние Ваше к тому, чтобы вернуть Милюкову возможность работать для семьи.

О самом Милюкове я выскажу — и со знанием человека — одно: он не из худших в своей рати. Это наивный, тяжеловесный, академический либерал, в действиях своих даже глупый, а не вояка искушенный и неуловимый. В заблуждениях своих такие, как Милюков, все же хранят нечто культурное и благомыслящее, на что у меня есть данные бесспорные» (Ключевский 1968. С. 197).

<sup>57</sup> Бороздин М. Памяти Ключевского // Русское Слово. 1911. 13 мая.

Удивительно умение Василия Осиповича отыскивать в родной истории маленькие, незаметные исторические величины и превращать их в типы. По сродности ли себе? Ведь сам он, по словам В. В. Розанова, — «никуда» не рос, никуда не «хотел», ни к чему не стремился, но как около старого дерева «само собою» нарастает с каждым годом новая древесина, и оно становится все больше и толще, — так Ключевский «само собою» вырос в коренного русского историка»<sup>58</sup>.

По воспоминаниям историка Ю. В. Готье: «Это достигалось не только редким знанием им своего предмета, но еще единственно ему свойственной способностью проникнуть в душу русского народа и русского человека, понять его и в его настоящем, и в его прошлом и, наконец, столь же исключительной способностью владеть выразительной и богатой русской речью. Русский язык он внутренне понимал и владел им так, как он понимал и знал русскую душу. Громадным знанием, даром живо и проникновенно понять русский народ и русскую душу и свою любовь облечь в какую-то своеобразную, но тоже понятную русскому человеку дымку добродушия»<sup>59</sup>.

Вне подлинной личной близости, с теплым голосом, с живой улыбкой в ответ на слово, как будто не было для него общения. «Малейшая детонация в отношениях, какое-нибудь случайно сорвавшееся не совсем удачное слово мгновенно коробили его, и он съеживался и уходил в себя»<sup>60</sup>. «Зато когда наконец лед был сломан, вы получали истинно чарующее наслаждение от общения с этим бездонно умным, беспредельно талантливым, по внешности колючим, а в сущности в высшей степени добрым человеком. Он был добр не на словах, а в делах»<sup>61</sup>. «Эта черта его показывает высокое интимное напряжение его души, — и им-то именно он и уроднился

<sup>58</sup> Розанов В. В. Памяти В. О. Ключевского // Русское слово. 1911. 15 мая. К сожалению, в выходящем ныне собрании сочинений В. В. Розанова статья эта оказалась пропущена.

<sup>59</sup> Готье Ю. В. Университет // Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 565—566.

<sup>60</sup> Кизеветтер 1997. С. 54.

<sup>61</sup> Там же. С. 54.

русской истории, как ни один историк до него... Вся она — не показная; вся она тиха, не притязательна; вся, вместе с тем, прекрасна и глубокомысленна...»<sup>62</sup>.

«Он говорил нам про все “свое”, — вспоминал В. В. Розанов, — не величавое, не всемирное, пожалуй, — не глубокомысленное, но что нам милее и всяческого глубокомыслия, и величавых панорам. Вот, в самом деле, это единство духа и жизни: на что его променяем? Оно есть такая ценность, которая ни на что не променяется. Особливость Ключевского — что он, не отрицая преобразований XVIII века, тем не менее помещает центр тяжести русской истории в Москве, в Кремле, в старорусских базарах, в крестьянской избе, в духовном сословии, — во всех этих элементах, которые и в “Петербург” перешли, ничего не потеряв из “своего”, и в значительной степени переукрасив самый Петербург “по-своему”»<sup>63</sup>.

Ключевскому виделось, что история должна в результате представить наличный запас сил и средств, какие накопил народ в свое вековое существование. Но принятая им неволью отправная точка ограничивала его возможности, и он вынужден был более останавливаться на бытовой и хозяйственной жизни. Только в этюдах иногда ему удавалось проникнуть глубже.

Везде он бывал своим — среди ученых и среди духовенства, среди военных и при дворе. Однако, как отмечал тот же П. Н. Милоков: «...около Ключевского, за все время жизни, был простор. Ближе известного расстояния к нему даже самым близким людям подойти было нельзя, — не по его гордости и самомнению, не по ложной скромности, а просто по чрезвычайно сложной конструкции его психики. Ему зачастую было трудно выразить внешним образом свое отношение; даже к людям, к которым в душе он очень хорошо относился. Мне приходилось быть свидетелем, как даже написать самое простое письмо с обычными формами житейской вежливости

<sup>62</sup> Розанов В. В. Памяти В. О. Ключевского // Русское слово. 1911. 15 мая.

<sup>63</sup> Розанов В. В. Признаки времени. М., 2006. С. 102.

составляло для него истинное мучение»<sup>64</sup>. А профессор Московской духовной академии С. С. Глаголев писал: «Боязнь пространства: двигаться, имея перед собой пустоту было нелегко (для него — *В. Ш.*)... Он проходил это пространство ускоренным шагом, который нельзя было назвать бегом, но который не был и нормальной походкой. Наклонив немного голову, часто держась левой рукой за левую пуговицу сюртука, он быстро проскальзывал на кафедру»<sup>65</sup>. Тот же автор отмечал также в характере его «две черты: он страшно боялся оказаться смешным и остаться одиноким. Первое заставляло его всегда быть настороже. Если бы у него спросили: Василий Осипович, какой сегодня день? он не ответил бы сразу...»<sup>66</sup>.

И все же везде он был «своим». Особенно — у «Троицы». По воспоминаниям профессора Московской духовной академии С. И. Смирнова, Василий Осипович однажды говорил ему: «В одном северном житии рассказывается, как старец-подвижник, выйдя в лес, за ограду обители, заслушался птички и заснул на триста лет. Проснувшись, он пошел к своему монастырю и не узнал его, стены окрашены в другой цвет, новый настоятель, чужая братия... Я был счастливее этого старца: рано оставив духовную школу, долго я скитался вдали от нее, но когда в нее вернулся, я почувствовал себя здесь снова своим»<sup>67</sup>.

Сохранились и воспоминания питомцев Московской духовной академии о лекциях Ключевского того же начального периода его деятельности: «Небольшого роста, весь щупленький, невзрачный, близорукий, с сильными очками на быстрых глазах, без манер, без изящества, Василий Осипович был бесподобен на кафедре, окруженный всегда массою слушателей, собиравшихся с разных курсов и отделений. Видимо для всех, тут же на кафедре, он и творил свои рассказы по истории, свои незабвенные характеристики исторических лиц: это была и живопись, и лепка, и скульптура. Написанное в

<sup>64</sup> Милоков П. Н. Ключевский // Речь. 1911. 24 мая.

<sup>65</sup> Глаголев 1916. С. 497.

<sup>66</sup> Там же. С. 505.

<sup>67</sup> Смирнов С. И. Памяти профессора // Русское слово. 1911. 13 мая.

тетрадке было только общей канвой, на которой творческая мысль профессора с удивительным искусством вышивала наглядные, исторически-достоверные узоры. В живых, отчетливых образах и картинах, нарисованных Василием Осиповичем, проходили перед нами бывшие цари, митрополиты, патриархи, полководцы, бояре, дьяки, крестьяне и холопы в различных положениях и отношениях жизни. Многочисленная (в университете — тысячная) аудитория в иные моменты просто не дышала, вся превратившись в сплошное внимание настолько, что ничтожный шорох неприятно раздражал нервы. Тихий шепот Василия Осиповича, передававшего чью-нибудь типичную фразу, успевали уловить сидевшие на самых задних скамьях. То вся она одновременно переживала боль в сердце своем, то готова была издать общий крик негодования, то вдруг раздражалась единымдушным и неудержимым смехом. Но... менялись тоны и малейшие нюансы в голосе профессора, и слушатели моментально застыли в непосредственных своих чувствах и снова впивались жадными глазами и ушами в своего чудного учителя — философа, психолога, художника, чародея. Как любили, как почитали юноши Ключевского: это была их гордость, их красота, их радость. Они ждали от него откровений. Он вел их за собой в мир исторической правды. Он насаждал в них спасительные чувства сочувствия добру и отвращения от зла и коварства»<sup>68</sup>.

«Сам Василий Осипович обычно говорил, что в Посад он ездил освежиться и отдохнуть. И действительно он проводил здесь время непринужденно, в обществе своих близких академических друзей. В понедельник после обеда его нередко можно было видеть или пришедшим посмотреть на студенческий каток, или прогуливающимся по Посаду и его окрестностям. Не прочь был Василий Осипович принять участие и в скромной студенческой пирушке, причем и здесь все сводилось, главным образом, к неистощимым остроумным рассказам Василия Осиповича»<sup>69</sup>.

<sup>68</sup> Из воспоминаний студента Московской духовной академии 1870-х годов // У Троицы в Академии. М., 1914. С. 187—188.

<sup>69</sup> Покровский А. О Ключевском // Русское слово. 1911. 14 мая.

П. Н. Милюков однажды написал, что «Московская Русь была ему (Ключевскому. — В. Ш.) ближе, милее и, позволю себе оказать, понятнее...», и симпатии Ключевского находились «в самой тесной связи с “былым”, окружавшим его...», и сам он «ощущал себя думным дьяком» на служении России. Тому подтверждением «вся житейская обстановка, круг его родных и знакомых. Надо прибавить, что эта среда была единственной, в которой Ключевский не чувствовал никакого стеснения и в которую поэтому охотно возвращался... Он близко, нутром понимал этот быт...»<sup>70</sup>. Под «бытом» разумеется здесь Православие, разумеется Церковь.

«Русская порода, кусок драгоценной русской породы в ее удачном куске, удачном отколе — вот Ключевский. Я сравнил его с лианою: цепляясь руками, фигурой, умной головой, внимательной любящей душой, — он тридцать лет растет и ползет по старой русской стене, залезая своими “крюлочками” во все ее щелочки, во все ее скважинки... И никто так, как он, не знает, и никто так, как он, не любит эти старые освященные стены», — писал В. В. Розанов<sup>71</sup>.

На сапогах своих принес он землю от мощей Сергия Радонежского. Ключевский уважал веру и видел в ней сокровище. Во всяком случае в Московской духовной академии, как свидетельствует С. С. Глаголев, «в своих чтениях он никогда не позволял себе ничего, что могло бы оскорбить или смутить чью-либо религиозную совесть»<sup>72</sup>. По воспоминаниям того же С. С. Глаголева: «Очень охотно и часто Ключевский говорил о религиозности своей жены, которая потом и умерла в церкви (на светлой заутрене 1909 года ей стало плохо и довести до дома не удалось. Василий Осипович даже давал в газетах объявление с просьбой сообщить ему, как все произошло с Анисьей Михайловной). Он называл ее религиозность спортом, но видно было, что к этому спорту он относился с глубоким уважением»<sup>73</sup>.

<sup>70</sup> Милюков П. Н. Ключевский (окончание) // Речь. 1911. 25 мая.

<sup>71</sup> Розанов В. В. Около науки и университета // Русское слово. 1909. 12 декабря.

<sup>72</sup> Глаголев 1916. С. 507.

<sup>73</sup> Там же. С. 508.

К вере других относился с уважением, но верил ли сам? Что у Ключевского было на душе, понять не так просто, учитывая его сдержанность и приняв во внимание еще студенческие его раздумья. Облик отчасти двоятся еще с того времени, когда он, работая над «Древнерусскими житиями святых», по воспоминаниям профессора П. В. Знаменского, «был еще очень молодой человек, корректный, скромный, сдержанный, даже немного недоверчивый, с каким-то пытливым высматривающим взором»<sup>74</sup>.

И не раз говаривал он, что «к концу работы у него появилось чувство человека, который нырнул под воду, затаив дыхание, движется под водою и думает: хватит ли у него сил выдержать»<sup>75</sup>. Не так просто подступиться к житийным текстам извне, чтобы вычлени из них материал для добротной «позитивной» и критической истории во вкусе XIX века.

А с другой стороны, по свидетельству Елпифидора Васильевича Барсова, одного из самых близких и душевных друзей его: «Занимаясь житиями русских святых, он сделал огромный запас фактов, характерных для заселения северо-востока Росами в силу идеального уклада народной жизни. Не занес он этих фактов в изданную книгу, но берег их, как драгоценность, для будущих своих работ»<sup>76</sup>. Данных работ, отметим сразу, к сожалению, так и не появилось. Слишком уж в другую сторону дул ветер тогдашней общественной жизни. Особенно после кончины императора Александра III, резко переменявшей духовную атмосферу эпохи.

Редко и ненадолго проясняется небо, как, скажем, в лекции, читанной им о преподобном Сергии, когда и Третий Филиппов, защитник и почитатель «древлего благочестия», прослезился.

«Из его речей было видно, — пишет С. С. Глаголев, — что старую академию он ставил выше, чем новую, но старая академия отличалась от новой прежде всего и больше всего религиозностью. Легкомысленно кощунственные выходки некоторых, видно, его ко-

<sup>74</sup> Биографический очерк 1914. С. 56.

<sup>75</sup> Там же. С. 56.

<sup>76</sup> Барсов Е. В. Ключевский // Московский листок. 1911. 16 мая.

робили. С уважением он говорил о старых архиереях даже тогда, когда они по-видимому не проявляли к нему особого уважения. Так, он хорошо отзывался о пензенском архиерее, при котором учился в семинарии. Ключевский пробыл в богословском классе один год и затем перешел в университет»<sup>77</sup>.

И в то же самое время порою очень резкие и отчетливо сформулированные записи в дневнике, которые сам он, правда, публиковать не собирался. Нет, не понапрасну писал он еще 27 сентября 1861 г. в письме П. П. Гвоздеву: «Но скажу тебе раз навсегда: ты знаешь, я охотник до красного словца, для которого не пожалел и отца»<sup>78</sup>.

«Острый язык Ключевского не щадил никого, — вспоминал спустя много лет историк Александр Александрович Кизеветтер. — Весьма нередко люди, только что с поспешной радостью улыбавшиеся остроте Ключевского, коловшей враждебные им начала, мгновенно скисались от следующей его остроты, которая столь же метко поражала дорогие им прямо противоположные начала. Отсюда родилась репутация Ключевского как неисправимого скептика, не признающего никаких святынь... Под маской беспощадного острословия в нем таилась душа, глубоко чувствующая и даже чувствительная. Он только не любил пускать посторонних в святая святых своей души»<sup>79</sup>.

С одной стороны, либерал, как нередко сам представлял себя. А с другой — монархист втайне, как свидетельствовал С. С. Глаголев, отмечая, что «имеется для этого немало конфиденциальных доказательств»<sup>80</sup>.

И в то же время «свой человек», по свидетельству А. Ф. Кони, в редакции «Вестника Европы» — этом либеральнейшем в профессорском роде «гнездышке птенцов Петровых», по выражению Владимира Соловьева. С либералами либерал. Недаром после 1905 года вступил в кадетскую партию.

<sup>77</sup> Глаголев 1916. С. 507.

<sup>78</sup> Ключевский 1968. С. 36.

<sup>79</sup> Кизеветтер 1997. С. 51.

<sup>80</sup> Глаголев 1916. С. 499.

И дружил с Победоносцевым, благодаря которому получил чин тайного советника.

А ведь прав был П. Н. Милоков. Воистину был Василий Осипович думным дьяком. Не от Думы Государственной, куда он так и не сподобился попасть, баллотировавшись по Сергиевому Посаду. От дум своих непрерывных, от великой встревоженности человека, оказавшегося между мирами и явственно ощутившего это, взвалившего «междумирность» себе на плечи. «Искал ли он когда-нибудь чего-либо для себя? Должно полагать, что нет... Для других и за других он действовал. Он был добрым товарищем, но своего не искал»<sup>81</sup>.

«Ренан заявлял о своей зависти к наивной вере бретонцев, — размышляет С. С. Глаголев. — Такую, в сущности, глуповатую позу никогда не мог принять Ключевский. Он уважал веру, потому что видел в ней сокровище. Несомненно, он верил в Бога, как его понимает христианство. Но принимал он все христианство в форме Православия или в форме, близкой к Православию? Может быть, он принимал веру отцов, рассуждая, что невелико прегрешение разделять заблуждения отцов, но будет непростительным грехом, если отказаться от их веры, а она окажется истиной?»<sup>82</sup>

Никогда не спорил он с людьми, а только беседовал. В речах, в фигуре его и в каком-то почти отшельничестве (недаром и комнату его рабочую так часто уподобляли келье), в самом возвышенном и назидательном тоне (веяло от него некоторой суровостью, но не той, которая отталкивает) проступали родовые черты. Никуда не девшаяся, только несколько затемненная вихрями времени подлинная харизма духовного сословия. Он был питомцем старой бурсы, где, как писал С. С. Глаголев, «как будто ничему и не учили и откуда выходило множество умных людей. Изумительна та нравственная дисциплина, которую прививала эта школа своим питомцам. Дело здесь не во внешней благопочтительности, которую отмечают у старших священников, дело здесь в глубоком внутрен-

<sup>81</sup> Там же. С. 509.

<sup>82</sup> Там же. С. 508.

нем сознании долга... Питомец старой бирсы кланялся архиерею и тогда, когда тот, говоря метафорически, отдавал его на распятие. Он исполнял то, что считал долгом. Чувство долга было сильно у Ключевского»<sup>83</sup>.

«Этот “скептик” и “остряк”, — отмечал А. А. Кизеветтер, — был горячим патриотом и народолюбом, но только его любовь к родному народу никогда не принимала характера идеализации. Вот к этому он действительно был способен; до этого не допускали острый критический ум и чувство духовной независимости. Любить он умел. Но он не умел и не желал превращать любовь к кому бы то ни было в низкопоклонство и распластывание во прахе»<sup>84</sup>.

Бесценные сведения о том, что говорил В. О. Ключевский на своих поздних лекциях, сохранил Валентин Николаевич Сперанский, юрист и философ, выпускник Московского университета 1899 года, а впоследствии профессор Парижского университета. Уже в середине 1950-х он вспоминал об услышанном им:

«Пророчески дальновидно говорил историк на пороге вечности, за шесть лет до февральской революции. Этих драгоценных слов, почерпнутых из моих записей, я не нахожу теперь в советском печатном курсе Ключевского.

Русский народ в глазах Ключевского — не богоносец, не великан-чудотворец, но праведный долготерпеливый подвижник. Случалось не раз этому народу и бушевать, и бесчинствовать, и расправляться самосудом и грабежом. Он и своекорыстен — скрытен и лукав, и хитер. Он бывал и жестоким, и озорным, и слепомстительным. Грешил он и безобразил кощунственно, и погружался в разгул дикий и безоглядный. И этот же народ сам, по собственному почину, в своих грехах безмерных каялся и молился пламенно, в сокрушении непритворном.

Чудесные художественные песни нашего народа целиком отражают его душевные силы, целебные и возрождающие. К прочному нравственному самосознанию русский народ придет путем

<sup>83</sup> Там же. С. 509.

<sup>84</sup> Кизеветтер 1997. С. 54.

мучительных мытарств и изнурительных самообольщений. Не все еще воры и самозванцы потешились над ним всласть и вдоволь. Еще поддается он соблазнам коварным и трудно отразимым. Еще обманет он и царя, и пастырей, и бар, и ... самого себя. Отрезвение и покаяние придет медленно и болезненно, но неминуемо и прочно»<sup>85</sup>.

Скончался Ключевский 12 мая 1911 года и похоронен был в Донском монастыре за алтарем церкви преподобного Иоанна Лествичника.

Панихиды по кончине Василия Осиповича совершались в квартире покойного на Житной улице в 14-м доме в 12 часов дня и в 7 часов вечера.

15 мая состоялись похороны Василия Осиповича. К выносу тела в дом покойного на Житной улице к 8-ми часам утра собрались профессор и студенты с профессором М. К. Любавским, помощником ректора Московского университета, во главе. После литии гроб на руках вынесли студенты, и печальная процессия направилась в Университетскую церковь.

Заупокойную Литургию, начавшуюся в 10 часов, совершал преосвященный Анастасий, епископ Серпуховский, соборне с настоятелем Знаменского монастыря архимандритом Модестом, местным благочинным протоиереем С. М. Марковым, профессором богословия Московского университета протоиереем Н. И. Боголюбским и другим духовенством. В конце литии преосвященный Анастасий произнес прочувствованную речь, посвященную памяти историка и учителя.

Следовавшее за тем отпевание совершил преосвященный Трифон, епископ Дмитровский, в сослужении преосвященного Анастасия, архимандрита Модеста и многочисленного духовенства из числа учеников и почитателей усопшего профессора.

Произнесены были две речи законоучителя Московского Коммерческого училища И. А. Артоболевского, родом из Пензы, передавшего «низкий до земли поклон от родной земли твоей», и на-

<sup>85</sup> Сперанский В. Н. Воспоминания // Возрождение. Париж. 1955. № 1. С. 84.

стоятеля Университетского храма протоиерея Н. И. Боголюбского. Много было живых цветов в виде крестов и венков, в том числе от Императорского Московского университета («Своему незабвенному профессору и почетному члену»), от Императорской академии наук, от Русского исторического общества, от Московского общества грамотности, от редакции журнала «Научное слово», от группы слушательниц Высших женских курсов.

Присутствовали преосвященный Иоанникий, попечитель Московского учебного округа А. А. Тихомиров, попечитель Казанского учебного округа А. Н. Деревницкий, и. о. ректора Московского университета граф Л. А. Комаровский, Московский городской голова Н. И. Гучков.

Храм был полон молящимися. Отпевание закончилось во втором часу дня, а вынос тела после прощания состоялся лишь в 2 часа дня. Ко времени выноса тела на Большой Никитской улице около храма собралась многочисленная публика. Гроб понесли на руках в Донской монастырь студенты и другие почитатели памяти усопшего.

Печальную процессию сопровождали преосвященные Тихон и Анастасий. Против зданий Архива Министерства иностранных дел и Румянцевского музея были совершены литии. Процессия повернула на Житную улицу к дому усопшего, где еще одну литию совершил преосвященный Анастасий.

К Донскому монастырю шествие приблизилось лишь в пятом часу дня; процессию встретили настоятель обители высокопреподобный Алексей и пребывающий на покое в обители преосвященный Антонин, которые по совершении литии сопровождали гроб до могилы, приготовленной недалеко от могилы князя С. Н. Трубецкого.

Знаменательно присутствие на этих похоронах в будущем святейшего Патриарха Тихона (Белавина), митрополитов Трифона (Туркестанова), оставшегося в Церкви, возглавлявшейся митрополитом Сергием, и Анастасия (Грибановского), впоследствии Первоиерарха Русской Православной Зарубежной Церкви.

Православная Москва проводила Василия Осиповича как своего, как думного дьяка, служившего России и Богу, взвалившего на себя непосильный крест, разлетавшихся, казалось непоправимо, миров. История была для него не только наукой о прошлом, но и собиранием воедино народного духа перед надвигавшейся бурей.

«Он любил родное и глубоко чувствовал русскую душу, — писал князь Евгений Николаевич Трубецкой. — Раз в жизни, но, кажется мне, всего один только раз, дано ему было заглянуть и в интимную, религиозную, мистическую ее глубину. Случилось это в тот день, когда он создал свою вдохновенную лекцию о преподобном Сергии Радонежском.

Эта лекция без сомнения — самое горячее, самое глубокое и проникновенное из всего, что он написал, самое духовное из всех его произведений. Но это еще не мирозерцание, а скорее зачаток того мирочувствия, которое поднимало Ключевского высоко не только над его коллегами — московскими профессорами, но и над ним самим.

Этого подъема было достаточно, чтобы осветить всю русскую историю изнутри, из той глубины духа, из которой раньше никому другому, даже самому Ключевскому, не дано было ее осветить»<sup>86</sup>.

Но он не вполне справедлив и далеко не прав. Василий Осипович никогда не забывал «того стиха-молитвы, который служит формулой русского религиозного настроения: *да будет воля Твоя*»<sup>87</sup>. И он прекрасно понимал и не уставал говорить, что «никакой христианский народ своим бытом, всею своею историей не прочувствовал этого стиха так глубоко, как русский»<sup>88</sup>.

<sup>86</sup> Трубецкой Е. Н. Воспоминания // Русская мысль. Париж, 1921. 3—4. С. 140.

<sup>87</sup> Мф. 6, 10.

<sup>88</sup> Ключевский В. О. Сочинения. Т. 8. М., 1959. С. 132.

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- В. О. Ключевский 2005 — В. О. Ключевский и проблемы российской провинциальной культуры и историографии. Кн. 1. М., 2005.
- Глаголев 1916* — *Глаголев С. С.* Памяти В. О. Ключевского // БВ. 1916. Т. 3. № 10—12. С. 491—510.
- Белокуров 1914* — *Белокуров С. А.* Василий Осипович Ключевский. Материалы для его биографии // Чтения в Обществе истории и древностей Российских. 1914. № 1. С. I—XIX, 1—436.
- Кизеветтер 1997* — *Кизеветтер А. А.* На рубеже двух столетий. М., 1997.
- Ключевский 1968* — *Ключевский В. О.* Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968.
- Кондаков 2002* — *Кондаков Н. П.* Воспоминания и думы. М., 2002.
- Биографический очерк 1914* — В. О. Ключевский: Биографический очерк, речи, произнесенные в торжественном заседании 12 ноября 1911 г. М., 1914.